

Перевод Александры Гуровой

впервые на русском

обложка

Клиффорд  
Уттингем  
Бирс

# ОТОРВАННЫЙ ОТ — ЖИЗНИ

Автобиография о горькой потере  
и возрождении себя

18+

Обложка. 21-й век

Клиффорд Уиттингем Бирс  
**Оторванный от жизни**

«Издательский Дом Мещерякова»

1908

УДК 821.111-312.6  
ББК 84(7Coe)-44

**Бирс К.**

Оторванный от жизни / К. Бирс — «Издательский Дом  
Мещерякова», 1908 — (Обложка. 21-й век)

ISBN 978-5-907728-01-1

Не только герои Кена Кизи оказывались в американской психбольнице. Например, в объятиях смиренной рубашки побывал и обычный выпускник Йельского университета, подающий надежды молодой человек – Клиффорд Уиттингем Бирс. В 24 года он решил покончить с собой после смерти любимого брата. Ему посчастливилось выжить. Однако вернуться к жизни не так просто, если ты намеренно себя от нее оторвал. Паранойя, бред, предчувствие смерти – как выбраться из лабиринта разума и покинуть сумасшедший дом? Подлинный антураж психиатрической больницы начала XX столетия взбудоражит вам кровь. А яростные драки с медперсоналом еще как следует пощекочут нервы. Вот такая мрачная и горькая на первый взгляд исповедь Клиффорда Бирса на самом деле подает надежду на светлое будущее. Это история, полная стойкости и духовной отваги. Это честный разговор о смерти, который вдохновляет жить. На русском языке издается впервые.

УДК 821.111-312.6  
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-907728-01-1

© Бирс К., 1908  
© Издательский Дом  
Мещерякова, 1908

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	15
-----------------------------------	----

# Клиффорд Бирс

## Оторванный от жизни

*Посвящается памяти моего дяди Сэмюэла Эдвина Мервина, чья своевременная щедрость, полагаю, спасла мою жизнь и чья смерть навсегда украла у меня возможность доказать мою благодарность.*

Clifford Whittingham Beers  
A MIND THAT FOUND ITSELF

*Перевод с английского А. Н. Гуровой*



© А. Н. Гурова, перевод, 2023

© АО «Издательский Дом Мещерякова», 2023

### I

Эта история взята из самого человеческого документа, который мог когда-либо существовать; и оттого, что природа ее необычна, самое ценное в ней – то, что она настоящая. Это автобиография – и не только: рассказывая историю своей жизни, я должен поведать об истории другого себя – себя, что играл главную роль в период с двадцати четырех до двадцати шести лет моей жизни. В то время я не был похож ни на того, кем был до, ни на того, кем стал после. Данную часть моей автобиографии можно назвать гражданской войной разума, которую я вел в одиночку на поле боя, развернувшемся внутри моего черепа. Армия Безумия из хитрых и предательских мыслей злого врага атаковала мое ошеломленное сознание непреклонно и почти уничтожила меня, если бы победоносный Разум не разработал наконец более мощную стратегию и не спас меня от ненастоящего себя.

Я рассказываю историю своей жизни, не просто чтобы написать книгу. Я рассказываю ее потому, что считаю это своим долгом. Еле избежал гибели, чудесным образом исцелился от смертельной болезни. Этого более чем достаточно, чтобы задуматься: для чего меня пощадили? Почему? Я спрашивал себя. И эта книга – в какой-то степени ответ на этот вопрос.

Я родился на закате около тридцати лет назад. Мои предки, выходцы из Англии, осели в Америке вскоре после того, как торговый галеон «Мейфлауэр» вошел в Плимутскую бухту. И кровь этих предков по прошествии времени, благодаря браку мужчины с Севера и женщины с Юга – моих родителей, неизбежно стала американской.

Первые годы моей жизни не отличались от жизни других американских мальчишек, однако меня выделяла привычка постоянно тревожиться. И хотя сейчас я верю в это с трудом, тогда я был до невозможности стеснительным. Когда я впервые надел шорты, мне показалось, что на меня смотрят все; чтобы избежать чужих глаз, дома я прятался за мебелью, а на улице крался вдоль заборов, если верить рассказам семьи. Из-за своей робости я чувствовал себя неловко на семейных или общественных встречах, мне это сильно мешало. Я мало говорил и напрягался, когда со мной начинали диалог.

Как и многие другие ранимые дети-интроверты, однажды я пережил краткий период убийственной праведности. Мы играли в бейсбол, наша команда проиграла. На куске бруса, который лежал на площадке, где проводилась игра, я нацарапал счет. Потом мне пришло в голову, что мою надпись истолковали неправильно – и что выиграли наши. Я вернулся и исправил написанное. Найдя дома старый ящик с инструментами, обнаружил то ли медаль, то ли монету, на которой было написано: «Так давайте же оставим дела тьмы и наденем доспехи света»<sup>1</sup>, и почувствовал, что мои религиозные чувства оскорбили. Мне показалось, что это святотатство: использовать столь высокие мысли таким гнусным образом. Поэтому я уничтожил монету.

Я рано почувствовал – или, во всяком случае, осознал – то, как другие заботились и волновались обо мне. Наверное, я отличался от других детей тем, что развивал в себе нелепое и жалкое чувство ответственности за всю вселенную. Не знаю. Но самое яркое проявление этого случилось, когда средства семьи оказались в опасности. Я стал бояться, что мой отец (оптимистичнее которого не было никого на свете) совершит самоубийство.

В конце концов, я не уверен, что другая часть моей натуры – естественная, здоровая, мальчишеская – не развивалась параллельно с робкими и болезненными настроениями, которые не так уж и редки в детстве. Разумеется, нормальный, непоседливый я чаще выглядывал на поверхность. Я был вполне нормальным парнем: не отличался от приятелей, с которыми играл, ездил на рыбалку, когда представлялась возможность. Никто из моих друзей не считал меня застенчивым или угрюмым. Но так было потому, что я прятал свои проблемы под маской сарказма и едких острот – или под тем, что могло хоть как-то сойти за острогу среди моих незрелых знакомых, пускай я делал это бессознательно. Со взрослыми я время от времени вел себя как нахал, и степень моей дерзости зависела, вне всякого сомнения, от того, насколько мне было неловко и насколько мне не хотелось этого показывать. Я постоянно должен был казаться счастливее, чем был на самом деле, и поэтому выработал привычку отвечать шутками, иногда даже в виде неплохих эпиграмм. Я помню одно замечание, сделанное мной задолго до того, как я мог бы услышать про Томаса Роберта Мальтуса или понять его теорию о соотношении детей и количества еды. У нас была большая семья, ограниченная в средствах, а у пяти мальчиков имелся неограниченный аппетит, поэтому мы часто ели дешевое, хотя и питательное мясо. Однажды, когда стейк оказался жестче, чем обычно, я в эпigramме пересказал мальтузианскую теорию: «Верю: чем меньше детей, тем лучше мясо!»

Еще одно происшествие из моего детства может помочь читателю познакомиться со мной. Лет в тринадцать-четырнадцать мне довелось год быть членом мужского хора. Не считая голоса, я был хорошим хористом и, как и все хорошие хористы, отличался ангельским спокойствием, которое требовало незамедлительного выплеска эмоций после репетиции или службы. Однажды я подрался с другим хористом. Не могу вспомнить время, когда бы мне не нравились

---

<sup>1</sup> Послание к римлянам, 13:12.

словесные перепалки, но драки никогда не входили в число моих увлечений, и я не стремился в них ввязываться. Противник на самом деле просто вынудил меня. И хотя победа осталась не за мной, по крайней мере, я вышел из драки с честью, поскольку какой-то прохожий сказал слова, которые я никогда не забуду. «А этот пацан ничего, когда разошется», – произнес он. Где-то двенадцать лет спустя я и правда «разошелся», и если бы тот прохожий увидел меня хоть на секундочку, его переполняла бы радость, потому что его слова стали пророческими.

В возрасте семи лет я поступил в общественную гимназию в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, откуда выпустился в 1891 году. Осенью я пошел учиться в старшую школу того же города. Все школьные предметы были изучены без особых проблем, с отличием. Я всегда умудрялся получать хорошие оценки, когда того заслуживал; и хотя мало кто из моих учителей говорил, что у меня есть настоящие способности, они всегда отмечали определенные скрытые резервы и, очевидно, верили, что в один прекрасный день те разовьются в достаточной степени, чтобы я никого не опозорил.

Когда я поступал в старшую школу, то стремился к успеху, как и любой другой школьник. Я хотел выиграть выборы в определенном тайном обществе; когда мне удалось это сделать, я возжелал стать управляющим делами в ежемесячном журнале этого общества. И во всех стремлениях я преуспел. Для человека моих лет у меня была большая страсть к управлению. Я на самом деле специально выучился играть на гитаре так хорошо, чтобы меня могли избрать в «Клуб банджо», и все это было не из эстетических целей: я занял очередь на позицию управляющего и позднее был избран на это место.

Я активно интересовался только одним видом спорта – теннисом. Быстрая перестрелка мячом подходила моему темпераменту; я так любил теннис, что одним летом сыграл не менее четырех тысяч матчей. У меня были способности, и я посвящал теннису куда больше времени, чем мои одноклассники, так что неудивительно, что я набрался опыта и выиграл школьный чемпионат в выпускном классе. Этот успех пришел ко мне не только потому, что я прекрасно играл, но и из-за того, что я считал несправедливым отношением. Этот факт хорошо иллюстрирует определенную черту характера, которая часто помогала мне побеждать. Среди зрителей на финальном матче было несколько девушек. Мои сокурсницы жили в нашем районе и часто принимали мою мальчишескую неуверенность, о которой знало мало людей, за самолюбленность. Когда мы проходили друг мимо друга – почти каждый день, – в качестве приветствия мы смотрели в разные стороны. Так вот, мой соперник очень нравился этим девушкам и по праву получал их поддержку. Соответственно, они аплодировали его удачным подачам, что было справедливо. Моим удачным ударами они не аплодировали, что тоже справедливо. Но вот что точно было несправедливо – так это то, что они хлопали моим плохим подачам. И это заставляло мою кровь вскипать. Благодаря тем, кто желал моего поражения, я выиграл.

В июне 1894 года я получил диплом старшей школы. Вскоре после этого я сдал экзамены в Йельский университет и в сентябре того же года поступил в Шеффилдскую научную школу на гуманитарную специальность.

В последнюю неделю июня 1894 года случилось очень важное событие, которое, без сомнений, полностью изменило курс моей учебы. Оно послужило причиной моего срыва шесть лет спустя и стало тревожащим и отчасти странным и восхитительным основанием для этой книги. Это событие – болезнь моего старшего брата, которого поздним июнем 1894 года поразила эпилепсия. На свете мало болезней, способных внести подобный хаос в семью и встревожить всех ее членов. У моего брата было идеальное здоровье до того момента, как случился приступ; и, поскольку ни в одной ветви семьи не было даже намека на эпилепсию или хотя бы похожую болезнь, всё произошло как гром среди ясного неба. Для лечения сделали все возможное, но тщетно. 4 июля 1900 года он умер после шести лет болезни. Два года из них он провел дома, один – в путешествии вокруг света на паруснике, а большую часть – на ферме

около Хартфорда. В итоге врачи решили, что в основании черепа у него росла опухоль, которая и повлекла за собой болезнь и смерть.

Поскольку, когда у брата случился первый приступ, я учился в старшей школе, у меня было больше свободного времени, чем у других членов семьи, и я проводил все время с ним. Несмотря на то что в первый год болезни приступы случались только по ночам, меня мучил страх, что они могут произойти и днем, на людях.

Итак, если моего брата, всю жизнь имевшего превосходное здоровье, могла поразить эпилепсия, что мешало мне заболеть точно так же? Эта мысль вскоре завладела моим разумом. Чем больше я думал о брате и о себе, тем сильнее нервничал; и чем сильнее я нервничал, тем больше убеждался в том, что моя болезнь – лишь вопрос времени. Приговоренный к тому, что я считал смертью при жизни, я думал об эпилепсии. Мне снились сны об эпилепсии – тысячу раз до тех пор, пока эта тревожная идея окончательно не взвинтила мое воображение и не подвела меня к самому приступу. Однако ни разу за всю мою жизнь эти страхи не стали реальностью.

Год и два месяца после первого приступа брата меня мучил страх; но нервы взяли верх надо мной немного позже. Это случилось в ноябре 1895 года, во время чтения вслух на немецком. Этот час в классе был одним из самых неприятных в жизни. Казалось, что нервы лопнули, как множество едва заметных резинок, растянутых чересчур сильно. Если бы у меня хватило духу выйти из комнаты, я бы так и поступил; но я сидел как парализованный, пока всех не отпустили.

В том семестре я больше не посещал эти уроки. Я продолжил заниматься дома и сдал экзамены на отлично, что позволило мне заполучить место в классе в следующем семестре. В оставшееся время в университете я редко заходил в комнату для чтения, хотя абсолютная уверенность в том, что меня не вызовут читать, слегка успокаивала меня на занятиях. Профессора, которым я рассказал о своем состоянии и его причине, неизменно относились ко мне со вниманием; и пусть я полагал, что они ни капли не сомневались в искренности моих слов, убеждать их было легко на протяжении двух третей моего обучения в университете. Я не мог читать вслух, но причиной этому служило не отсутствие подготовки. Я мог быть прекрасно подготовлен, но в тот момент, когда меня вызывали, в дело вмешивалась тысяча тревожных ощущений, и приходила отдаленная мысль, что наконец меня обуяет приступ ужаса, и мне оставалось сказать лишь одно: «Не готов». Неделями около моего имени не стояло ничего, кроме нуля или пропуска, который означал, что меня не вызывали вовсе. Однако время от времени профессор, собираясь поступить справедливо по отношению к себе и к другим студентам, настаивал на том, чтобы я декламировал, и в таком случае мне удавалось читать вслух достаточно текстов, чтобы удержаться место в классе.

Когда я поступил в Йельский университет, у меня было четыре четкие цели: во-первых, выиграть на выборах в тайном клубе, куда я мечтал попасть; во-вторых, стать одним из редакторов «Йель Рекорд» – иллюстрированного юмористического издания, которое выходило дважды в неделю; в-третьих (если мне удастся второе), убедить коллег, что я должен стать управляющим – и не ради почестей, а потому, что полагал: я смогу заработать столько же, сколько стоило мое обучение; в-четвертых (самое главное), получить диплом в предписанные сроки. Всех этих целей я успешно достиг.

Для любого человека студенческие годы – обычно самые счастливые в жизни. Но не для меня. Большая часть моих не была таковой. И все-таки я оглядываюсь на них с большим удовольствием, потому что чувствую, что мне повезло: я впитал неосознанную, но самую настоящую вещь, известную как «дух Йеля». Это помогло мне не оставлять надежду в самые тяжелые моменты, и с тех пор мне казалось, что я смогу достичь любых целей.



## II

13 июня 1897 года я окончил Йель. Если бы тогда я понимал, что болен, я бы мог отдохнуть, и мне следовало это сделать. Но я некоторым образом привык к взлетам и падениям нервного существования и, поскольку на самом деле отдыха я себе позволить не мог, через шесть дней после окончания заступил на должность клерка в офисе налогового инспектора города Нью-Хейвен. Мне повезло, что я получил это место в то время, потому что работали мы сравнительно немного, а сама работа была столь же приятной, как и любая другая в подобных обстоятельствах.

Я поступил на должность в Налоговой службе с намерением оставаться до тех пор, пока не найду работу в Нью-Йорке. Где-то спустя год мне удалось устроиться. Проработав восемь месяцев, я ушел, чтобы занять место, которое предполагало поле деятельности, более подходящее моим вкусам. С мая 1899 года по середину июня 1900 года я был клерком в одной из небольших страховых компаний, и наша штаб-квартира была буквально в двух шагах от того, что кто-то может назвать центром вселенной. Я очень хотел быть в самом сердце финансового района Нью-Йорка – это подогревало мое воображение. Идеалы Уолл-стрит тогда заразили меня, зарабатывание денег стало моей страстью. Я хотел познать сладкую горечь силы, основанной на богатстве.

Первые полтора года жизни в Нью-Йорке мое здоровье, казалось, было не в худшей форме, чем в предыдущие три года. Но застарелый ужас все-таки продолжал владеть мной. Передо мной пробегали более-менее нервные дни, недели и месяцы. Однако в марте 1900 года все изменилось в худшую сторону. В то время меня сразил сильный приступ инфлюэнцы, и я не мог ничего делать две недели. Как и ожидалось в моем случае, болезнь серьезно подкосила мои жизненные силы и оставила меня в пугающе подавленном состоянии: это была депрессия, которая росла внутри, пока не случился финальный слом – 23 июня 1900 года. События того дня, на тот момент казавшиеся ужасными, но, очевидно, случившиеся к лучшему, как оказалось позже, привели меня на тропы, пройденные многими, но мало кем понятые.

Я продолжал работать клерком до 15 июня. В тот день мне пришлось остановиться и кое-что совершить. Я достиг того момента, когда моя воля капитулировала перед аморальным узурпатором сознания – Безумием. Предыдущие пять лет неврастении заставили меня поверить в то, что я испытал все неприятные ощущения, от которых может страдать перегруженная и расшатанная нервная система. Но в этот день меня охватило несколько новых ужасных ощущений, и я стал беспомощен. Мое состояние, однако, не было бы понятно тем, кто работал со мной за одним столом. Я помню, что пытался говорить и время от времени не мог выразить собственные мысли. Хотя я мог отвечать на вопросы, это едва ли уменьшало мою тревогу, потому что единственная неудача в попытке говорить собьет с толку любого человека независимо от состояния его здоровья. Я пытался переписывать некоторые документы для работы, но моя рука дрожала, и мне было трудно читать слова и цифры, которые казались моему измученному зрению расплывчатыми и неясными.

В тот день, понимая, что произойдет нечто ужасное, но не зная, что именно, я сделал кое-что необычное. У меня было несколько статей, которые не опубликовали в университетской газете, но над которыми я трясся несколько лет; я их уничтожил. Потом, торопливо приведя дела в порядок, я сел на первый дневной поезд до Нью-Хейвена и вскоре прибыл туда. Жизнь дома не улучшила мое состояние: я прогулялся пешком три или четыре раза, а потом и вовсе не выходил на улицу до 23 июня. Это был день, когда я вернулся с прогулки в необычном состоянии. Родственникам о своем состоянии я не сказал ничего, кроме общих слов о том, что никогда не чувствовал себя хуже. Подобное заявление в устах неврастеника значит многое, но

доказывает мало. Пять лет у меня были плохие и хорошие дни, и мы с семьей начали думать, что со временем все наладится.

На следующий день после возвращения домой я (либо же та часть разума, которая все еще была под моим контролем) решил, что настало время совсем уйти с работы и несколько месяцев отдохнуть. Я даже договорился с младшим братом уехать в тихое местечко в Уайт-Маунтинс, где надеялся излечить свои расшатанные нервы. К тому времени я чувствовал себя так, словно трясусь с головы до ног, и ко мне постоянно приходила мысль, что сейчас со мной случится эпилептический приступ. Не раз я говорил друзьям, что лучше умру, чем буду эпилептиком; однако, если память меня не подводит, я никогда не говорил вслух о настоящем страхе, что я буду подвержен этому заболеванию. Пусть я до безумия верил, что так и случится, у меня была крепкая надежда, что меня это не коснется. Этот факт может до некоторой степени объяснить шесть лет моего терпения.

18 июня я почувствовал себя так плохо, что отправился в кровать и оставался там до 23 числа. Ночью 18 июня мой постоянный ужас стал ложным убеждением – бредом. Я долго ждал – и наконец убедился, что это произошло. Я сам верил в то, что я настоящий эпилептик, и убежденность в этом оказалась сильнее всего, на что способен здоровый ум. Двойственное стремление, появившееся до того, как мой разум был окончательно повержен, – убить себя и не жить той жизнью, которой я боялся, – теперь разделило мой разум на «до» и «после». С того момента моей единственной мыслью было приблизить конец, потому что я думал, что упущу шанс умереть, если семья найдет меня в эпилептическом припадке.

Учитывая мое состояние и невозможность в тот момент оценить всю тяжесть такой смерти, которую я все-таки рассматривал, мои суицидальные мысли были далеко не эгоистичными. Я никогда не рассматривал самоубийство всерьез: подтверждение тому – тот факт, что я так и не раздобыл оружие, несмотря на свою привычку запасаться на случай самых невероятных событий, о которой часто говорили мои друзья. Признаюсь: пока я контролировал свой разум, я раздумывал над суицидом; те же поспешные действия, которые последовали за потерей себя, я даже назвать не могу попыткой самоубийства. Как человек, не являющийся собой, может себя убить?

Вскоре мысли о смерти заполнили мой беспорядочный разум. Я отчетливо помню один из своих планов: он включал прогулку по озеру Уитни неподалеку от Нью-Хейвена. Ее я собирался совершить на самой ненадежной лодке, которую только можно было раздобыть. Подобное судно легко раскачать, и таким образом я оставил бы в наследство родственникам множество сомнений, которые лишили бы мою смерть обычного в таких случаях позора. Еще я помню, как искал смертельное лекарство и надеялся найти его дома. Но количество и качество найденного заставили меня сомневаться в эффективности этого метода. Затем я подумал о том, чтобы перерезать себе яремную вену; я зашел так далеко, что даже прижал лезвие к шее, но потом, когда некий импульс заявил о себе, я спрятал нож в укромное место. Я на самом деле желал умереть, но столь неверный и ужасный способ меня не привлекал. И тем не менее, будь я уверен, что в моем состоянии шаткого безумия я смогу сделать все умело, я бы разом прекратил свои страдания.

Мои воображаемые приступы теперь случались очень часто и отвлекали меня: я был в постоянном страхе обнаружить что-то новое. За эти три-четыре дня я едва сомкнул глаза. Даже снотворное, которое мне дали, не имело особого эффекта. Я сходил с ума внутри, но не демонстрировал это внешнему миру. Большую часть времени я тихо лежал в кровати. Я говорил, но редко: практически, хоть и не до конца, утратил дар речи; но мое молчание почему-то не вызывало подозрений по поводу серьезности моего состояния.

Методом исключения все способы самоубийства, кроме одного, были отложены в сторону. И я сконцентрировался именно на последнем. Моя комната находилась на четвертом этаже. Дом стоял в нескольких метрах от проезжей части. Окна располагались на высоте при-

близительно десять метров над землей. Под одним окном земля была замощена плитами – от дома до ворот. Под другим окном находился подвал для хранения угля, прикрытый железной решеткой. Он был окружен плитами шириной почти полметра и соединялся с тротуаром другой плитой. И все это было перед домом: камень и железо занимали площадь не меньше двух метров шириной. Не составляло труда подсчитать, насколько мал шанс выживания после падения из окна.

Я встал на рассвете. Осторожно приблизился к окну, отдернул шторы и посмотрел наружу – и вниз. Потом я бесшумно закрыл шторы и заполз обратно в постель: я еще не стал настолько невменяемым, чтобы осмелиться на прыжок. Едва я натянул на себя одеяло, как наблюдательная мама вошла в мою комнату, привлеченная, возможно, тем оберегающим предчувствием, которое дарует любовь. Я подумал, что в ее словах крылось подозрение и она слышала, как я подошел к окну, но я молчал, и этих произнесенных слов оказалось достаточно, чтобы ее обмануть. На что способны Правда и Любовь, если сама Жизнь стала нежеланной?

Рассвет вскоре спрятался в ярком свете идеального июньского дня. Я никогда не видел дней ярче него – если смотреть глазами; никогда темнее – чтобы жить, никогда лучше – чтобы умереть. Его совершенство и песни малиновок, которых тогда было много в нашем районе, служили одной цели: они стремились увеличить мое отчаяние и заставить меня сильнее желать смерти. День шел своим чередом, и моя тоска усилилась, но я умудрился обмануть близких, время от времени что-то бормоча и притворяясь, что читаю газету; та, впрочем, казалась мне неразборчивой абракадаброй. Мой мозг переваривал сам себя. Создавалось ощущение, что его кололи миллионом иголок, раскаленных добела. Всем телом я чувствовал, будто разорвусь на части из-за ужасного нервного напряжения, которое переживал.

Вскоре после полудня подали обед. Моя мать вошла в комнату и спросила, не принести ли мне десерт. Я согласился. Не то чтобы я хотел сладкого; аппетита у меня не было. Мне хотелось, чтобы она ушла из комнаты, потому что я полагал, что нахожусь на грани очередного приступа. Она моментально покинула комнату. Я знал, что через две-три минуты мама возвратится. Я был на грани. Освобождение – сейчас или никогда. Вероятно, мама уже спустилась на один из трех пролетов; с безумным желанием размозжить голову о плиты внизу я бросился к тому окну, которое выходило к воротам. Вероятно, Судьба управляла мной, потому что по-другому никак не объяснить, что на самой грани броска вниз всем телом я решил кинуться вперед ногами. Мгновение я держался пальцами за окно. Потом я разжал их. В падении мое тело развернулось так, что я летел правым боком вниз. Я ударился оземь в полуметре от фундамента здания и по меньшей мере в метре от предполагаемой точки падения. Я упал не на каменный тротуар, а промахнулся на семь – десять сантиметров и ударился о сравнительно мягкую землю. Видимо, я прыгал с почти прямой спиной, потому что обе пятки ударились о землю одновременно. Удар слегка надломил кость в пятке и раздробил большую часть косточек в подъеме каждой ноги, но плоть не повредилась. Ноги стукнулись о землю, а правая рука поцарапалась о фасад дома; вероятно, именно эти три опорные точки разделили силу сотрясения, и из-за этого я не сломал спину. Как оказалось, я был близок к этому, и в следующие несколько недель у меня создалось чувство, что вместо хрящей между позвонками рассыпали битое стекло.

Я не потерял сознания ни на мгновение, и демонический ужас, которым я был одержим с июня 1894 года до этого падения на землю шесть лет спустя, развеялся в ту же секунду, как только я ударился о землю. В дальнейшем ни разу я не испытывал своих воображаемых приступов, и разум даже ни на секунду не думал об этом. Маленький демон, безостановочно мучивший меня столько лет, очевидно, не имел и капли выносливости, которая понадобилась мне, чтобы пережить шок внезапно прерванного полета сквозь пространство. И тот факт, что иллюзия, спровоцировавшая меня желать своей смерти, рассеялась так быстро, означает, что многие самоубийства можно предотвратить, если человек, собирающийся это сделать, найдет помощь в случае подобного кризиса.

### III

Я упал прямо перед окном столовой, и, конечно, все присутствующие были потрясены. На то, чтобы осознать случившееся, им понадобилась пара секунд. Потом мой младший брат кинулся на улицу и с помощью других родственников занес меня внутрь. С обедом было покончено. На пол столовой положили матрас, а меня водрузили на него, и мои мучения были невыносимы. Я произнес кое-что важное:

– Я думал, у меня эпилепсия!

Таковым было мое первое замечание.

Несколько раз я повторил:

– Хоть бы все уже закончилось! – так как я думал, что моя смерть – вопрос нескольких часов.

Вскоре прибывшим докторам, несмотря на то что я слегка приподнялся, я сообщил:

– У меня сломана спина!

Вызвали скорую, и меня погрузили внутрь. Из-за моих ран машине пришлось двигаться очень медленно. Путь в два километра казался нескончаемым, но мы наконец прибыли в больницу Милосердия; меня определили в палату, которая вскоре стала моей комнатой ужасов. Она была на втором этаже, и мое воображение помутнело, а внимание заострилось, когда у окна появился человек, который установил несколько тяжелых железных прутьев. Все считали, что они были для моей защиты, но мне в тот момент так не казалось. Мой разум был в объятиях иллюзий: он был готов, он хотел воспринять любое внешнее воздействие как предлог для собственных диких мыслей, и это зарешеченное окно положило начало ужасному потоку бреда, который продолжался следующие 798 дней. В течение этого периода мой разум запер и себя, и тело в подземелье, из которого не было выхода.

Зная, что люди, пытавшиеся покончить жизнь самоубийством, обычно отправляются под арест, я считал, что задержан законным образом. Я полагал, что в любой момент меня могут привести в суд, чтобы я ответил перед обвинением, выдвинутым местной полицией. Все действия окружавших меня людей, казалось, намекали на то, что полицейские называют допросом третьей степени. Припарки, положенные на мои ступни и лодыжки, заставляли меня потеть, а моя собственная ассоциация из безумных идей убедила меня, что я «потею» именно так, как обычно пишут в газетах о допросах. Я пришел к выводу, что процесс потоотделения на допросе вызывали специально, чтобы вынудить меня в чем-то признаться, хотя я даже не мог представить себе, какое признание мои мучители хотели бы услышать. Я находился в пограничном состоянии, меня мучила лихорадка, и я никак не мог избавиться от жажды. Мне давали только горячие солевые растворы. Несмотря на то что у врачей были все причины прописывать их мне, я думал, что эти напитки сделаны для преумножения боли, что это какая-то суровая часть допроса. Но даже если бы признание и должно было произойти, я бы едва ли смог, потому что та часть моего мозга, что отвечает за речь, была серьезно задета, а вскоре ее и вовсе истощили мои неконтролируемые мысли. Лишь изредка я бормотал, произнося по одному слову.

Слуховые галлюцинации, или «голоса в голове», усиливали страдания. Я слышал, но не понимал этот адский гул. Время от времени я узнавал тихий голос друга; время от времени я слышал голоса тех, кого не считал друзьями. Все они говорили обо мне и бормотали что-то, что я не мог различить, но знал, что это оскорбления. Призрачный стук по стенам и по потолку палаты отмерял неразборчивое бормотание невидимых преследователей.

Я отчетливо помню бред следующего дня – воскресенья. Складывалось ощущение, что я больше не в больнице. Каким-то таинственным образом меня увлекло на огромный океанский лайнер. Впервые я осознал это, когда лайнер был в пути. День выдался ясный, океан был спокоен, но, несмотря на это, корабль медленно тонул. И, естественно, именно я был виновником

ситуации, которая закончится для всех фатально, если только мы не достигнем берегов Европы до того, как вода в трюмах погасит все огни. И как же нас настигло подобное несчастье? Очень просто: ночью я каким-то образом – по сей день мне неизвестным – открыл иллюминатор ниже уровня моря, и ответственные за судно, судя по всему, не смогли его закрыть. Время от времени я слышал, как части корабля сдаются под грузом тяжести; я слышал, как ломаются балки и переборки; и когда вода полилась внутрь там, где я мог увидеть, в другом месте бесчисленное множество пассажиров были утаныты за борт. Это были нежеланные жертвы моего произвола. Я полагал, что меня в любой момент может тоже унести за борт. А вот причиной, по которой меня не сбросили за борт другие пассажиры, я считал то, что они хотят оставить меня в живых до тех пор, пока мы не достигнем берега, где расправиться со мной можно будет куда более изощренным образом.

Покуда я был на борту своего призрачного корабля, я ухитрился как-то проложить железную дорогу; и вагоны, которые проходили мимо больницы, вскоре уже бежали по моему океанскому лайнеру, вывозя пассажиров из гиблых мест на верхнюю палубу, где, казалось, можно было находиться в относительной безопасности. Каждый раз, когда я слышал, как поезд проезжает мимо больницы, воображаемый вагон стучал колесами по палубе корабля.

Бредовые видения были так же примечательны, как и внешние стимулы, вызвавшие их. Позднее я узнал, что совсем рядом с моей палатой были лифт и переговорная труба. Когда последней пользовались на другом конце здания, свисток, сообщавший об этом, создавал в моем разуме следующий образ: в каюте корабля заканчивался воздух; а когда открывались и закрывались двери лифта, я слышал в своих галлюцинациях, что корабль раскалывается на части. Но судно, на котором находился мой разум, не достигло берега и не утонуло. Оно исчезло, как мираж, и я снова обнаружил себя на больничной койке. Значило ли это, что я спасен? Едва ли. Спасение от одного неминуемого несчастья подразумевало моментальный переход к новому.

Бред постепенно сошел на нет. На четвертый или пятый день после 23 июня докторам удалось вправить мои сломанные кости. Операция повлекла за собой новые галлюцинации. Незадолго до наложения гипса мои ноги по вполне понятным причинам побрили от голени до икры. Подобный визит к цирюльнику я посчитал за унижение, проассоциировав его с тем, что я слышал о поведении в отношении убийц и схожими традициями в варварских странах. Приблизительно в то же время на мой лоб крест-накрест наклеили полоски лейкопластыря – я слегка поцарапался при падении; и это я, конечно, посчитал клеймом, говорившим о моем позоре.

Будь я в добром здравии, в то время я бы участвовал в трехлетнем юбилее выпуска из Йеля. И в самом деле: я был членом комитета по организации этого мероприятия! И пускай, покидая Нью-Йорк 15 июня, я чувствовал себя до мозга костей больным, я все же надеялся принять участие в праздновании. Выпускники собирались во вторник 26 июня – через три дня после моего падения. Знакомые с традициями Йеля в курсе, что Гарвардский бейсбольный матч – одно из главных событий поры вручения дипломов. Возглавляемые духовыми оркестрами, все выпуски, чей сбор приходится на один и тот же год, маршируют на Йельское игровое поле, чтобы посмотреть игру и набраться новых сил, задействовав столько жизненной энергии в один безумный день, сколько хватило бы на старый добрый век при экономном использовании. Оркестры, выпускники с криками, тысячи других горлопанов проходят по улице Уэст-Чэпел – это самый короткий маршрут от кампуса до поля. Именно на этой прямой расположена больница Милосердия, и я знал, что в день матча тысячи болельщиков Йеля пройдут мимо места моего заключения.

Я пережил столько дней сильнейших мучений, что сомневаюсь, как расставить их по местам; каждый из них заслуживает своего особенного места, как День всех святых в календаре

испанского инквизитора в прошлом. Но если отдавать пальму первенства какому-то из них, это будет, вероятно, 26 июня 1900 года.

Состояние моего разума в тот день можно описать следующим образом: обвинение в попытке совершения суицида было выдвинуто 23 июня. К 26 июня подоспели многие другие, даже более страшные. Общество считало меня самым презренным представителем человеческой расы. Газеты наполнились отчетами о совершенных мной грехах. Тысячи выпускников, собравшиеся в городе, многих из которых я знал лично, страдали от самой мысли, что выпускник Йельского университета так опозорил свою альма-матер. В тот момент, когда они подошли к больнице на пути к полю, я заключил, что они намереваются снять меня с койки, вытащить на лужайку, а там – разорвать на мелкие кусочки. Несколько инцидентов, произошедших в самые несчастливые мои годы, живо или даже целиком запечатлелись в памяти. Страх, конечно, был абсурдным, но Безумие не ведает слова «абсурд». Я думал, что запятнал репутацию своей альма-матер и лишился привилегии быть среди ее сынов, так что неудивительно, что выкрики выпускников, которыми был наполнен тот полдень и к которым лишь несколько дней назад я надеялся присоединиться, внушили мне бесконечный ужас.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.